

## Крик домашней птицы

Провинция — дом, теплый, грязноватый, свой. Есть на нее и другой взгляд, наружный, поверхностный, разделяемый, однако, многими, кто оказался тут не по своей воле: провинция — слякоть, мрак, живут в ней — несчастные, самое лестное, что можно о них сказать.

Крик домашней птицы разгоняет зло, за ночь набравшее силу.

Больничное утро. На койке — худой прокуренный человек, шофер, не домашняя птичка, у него — инфаркт. Страшное миновало, и он наблюдает, как лечат соседа, бомжеватого старичка, у того на запястье синее солнышко. Разряд — и сердечный ритм пришел в норму. «Деду стало легче, реже стал дышать», — произносит шофер из-за ширмы. Мы с ним переглядываемся. Разрешат ли водить автобус? И более злободневное: как бы не встретились у него в палате жена и другая женщина — та, что кормит его шашлыком. Шофер тоже кое-что про меня понимает, довольно многое: дикие птицы весьма проницательны.

Ясное устремление — любить не одних только близких, домашних, а шире — людей и место. Для этого требуется вспоминать, приглядываться, сочинять.

Вот, из детского: мы с отцом куда-то идем далеко по жаре. Деревня, ужасно хочется пить. Отец стучится в незнакомый дом, просит воды. Хозяйка говорит: воды нет, но выносит холодного молока. Мы пьем и выпиваем много, литра, наверное, полтора, отец предлагает хозяйке денег, та пожимает плечами, произносит без выражения: «Милок, ты сдурел?»

Место — любое по-своему привлекательно, тем более — средняя полоса. Увлечься ею так же просто, как женщине — полюбить неудачника. «Да, мы любим эти скалы» — поется в гимне Норвегии. В нашем гимне тоже воспевается география, что при имеющихся размерах вряд ли прилично. Гимн сочиняло начальство, *другие*, не птички.

Помню еще: мне восемнадцать лет, я веду машину, старенький «Запорожец», у него из зада, оттуда, где у «Запорожцев» двигатель, начинает валить дым. Сейчас случится беда, взрыв. На тротуаре народ — отойдите, рванет! «Открой», — говорит прохожий лет тридцати, берет тряпку и долго, спокойно тушит ею пламя, потом уходит — еще одна недомашняя птица.

Автомобильного, вообще — путевого, сразу много приходит в голову: в дороге домашние птицы подвержены неприятностям. Здесь происходят их

встречи с птицами дикими, хищными, и встречи эти запоминаются — и неожиданной добродетелью, и невиданным, непредставимым злом. «Убийцы — средние люди», — скажет полковник милиции, и ты, сосунок, домашняя птичка, вдруг это примешь, поймешь, это делается твоим.

Говоря о милиции: у врачей тут с ней свойские отношения. Поднять на этаж больного, если лифт сломался, алкашей до утра забрать, чтоб не буянили в палате, даже машину из грязи вытащить — зовут милиционеров. Они тоже — носят форму и создают в местном обществе иллюзию защищенности.

Возле кабинета «скорой помощи» — милиционер и подследственный в наручниках, молодой, немножко побитый. Что-то серьезное натворил, у нас просто так не надевают наручники. — Так бы сразу — жена, дети, — говорит подследственному милиционер. — А то: адвоката ему, ребята в Москве...

Вместе с парнем, погасившем пламя из двигателя, тут же вдруг вспоминается потный расхристанный хоккеист. «Вам должно быть вдвойне приятно победить родоначальников хоккея у них на родине?» Улыбается беззубым ртом: «Да без разницы!» С его достатком — мог бы и зубы вставить, но, видно, и так хоккеист отлично кусает мясо. Очень цельное впечатление.

Что еще? Проповедь, слышанная на Покров: день, когда наши предки оказались побеждены, мы сделали одним из самых своих почитаемых праздников. Нет занятия проще, чем поносить церковь. Это как, например, ругать Достоевского: правда, конечно, правда, но — мимо, всё не о том. Церковь — чудо, и Достоевский — чудо, и то, что мы до сих пор живы, — тоже чудо.

«Милок, ты сдурел?» — это могла быть одна из бабок, лежащих в первой палате. Бабки — не оскорбление, самоназвание. У самой тяжелой — голоса, видения: — Юр, ты? — Не, я не Юра, — говорит соседка. — А кто? — Я бабка. — А это кто, Юра? — другой соседке. — Нет, — отвечает та. — И я бабка. Ничего обидного в слове «бабка» нет, они и чувствуют себя — не старушками с ясным умом, как их столичные ровесницы-птички, а бабками.

Днем громко поссорились две санитарки. Одна здесь работает ради того, чтоб кормить себя и скотину — пищей, оставшейся от больных, другая владеет несколькими гектарами, ездит попеременно в Турцию и в Европу, а санитаркой устроилась, чтоб находиться в обществе. Впрочем, кажется, все еще запутанней: в Европу ездила первая санитарка, бедная, набрала кредитов, уже приходили судебные приставы.

Частное у нас — выше общественного. Налоговый инспектор, паренек двадцати с чем-то лет, наш проверяющий: ох, говорит, хорошо, что вы врач, я от армии как раз... понимаете? Как не понять? «В порядке исключе-

ния» — надежная формула, каждый у каждого оказывается в руках. Пусть Москва не верит слезам, у нас только им и верят. Если надо, конечно, сделаем, в порядке исключения.

Безобразия, умиляться не следует, но веселое участие во всеобщем обмане укрепляет единство нации не хуже хороших законов. За свет, за газ, за телефон не плачено? В столице отсутствие денег — стыд, а здесь, в общем, норма. — Эти счетчики — барахлят. — Как раз мой случай. А вы приходите, полечим. — Крестные, снохи, племянницы, водоканал, электросети, горгаз — понятно, уютно, тепло. Есть минусы, но способ жизни довольно устойчивый. Тут всё про всех знают. Как в раю.

Санитарки и бабки — днем, а к вечеру обнаруживается, что кое-что сделанное за сегодня далось усилиями явно избыточными, многое вообще не далось. В сумерках возвращаются злые, раздраженные мысли. В частности: куда подевались сообразительные люди? В нашем детстве их было достаточно. Что, уехали? Одно цепляется за другое, положительная обратная связь. В ночи с ее страхами душа уязвимей для зла. Вот еще: в дом нередко залетают синички, ласточки — это считается очень плохой приметой. Ничего не поделаешь — не жить же с закрытыми окнами — или уехать, если боишься, или освободиться от суеверий. Все в таком роде мысли, пока не настанет утро, с перерывом на сон.

В Москве ли, в Петербурге, в провинции — жизнь страшна. Скажем так — и страшна. В ней есть вещи, о которых писать невозможно: гибель безвинных жертв, в том числе молодых и совсем детей. Страшный, необязательный опыт переживания их смерти — всегда с нами, его не выкричишь, не разгонишь криком.

А потом будет день, и опять будут птички — небесные, домашние, дикие, всякие. Мир не ломается, что ни случись, так он устроен.

*сентябрь 2010 г.*